



КАК ЗАЩИТИТЬ ОБЩЕСТВО ОТ НАУКИ¹

П. ФЕЙЕРАБЕНД

Служители странной профессии, друзья, враги, дамы и господа, прежде чем начать свой доклад, позвольте мне объяснить вам, каким образом он появился на свет.

Примерно год тому назад я оказался на мели. Поэтому я принял предложение написать статью для сборника, посвященного отношению между наукой и религией. Я подумал: чтобы книгу покупали, статья должна быть вызывающей, а самое вызывающее утверждение, которое можно сделать по поводу отношения между наукой и религией, состоит в том, что наука — это та же религия. Положив это утверждение в основу своей статьи, я обнаружил, что в его пользу можно привести множество доводов, множество отличных доводов. Я привел их перечень, закончил статью и получил гонорар. Это был первый акт.

Затем я был приглашен на конференцию, посвященную защите культуры. Я принял приглашение, потому что оно предусматривало оплату моего перелета в Европу. Должен признаться, что имела и другая причина: я был заинтригован. Я приехал в Ниццу, не имея ни

малейшего представления, о чем буду говорить. Но когда конференция набрала обороты, я обнаружил, что все участники имеют очень высокое мнение о науке и что все они очень серьезны. И тогда я решил объяснить, как можно защитить культуру от науки. Для этого вполне годились все доводы, приведенные в моей статье, и не было нужды изобретать что-то новое. Я сделал доклад, был награжден бурей протеста против моих «опасных и необдуманных идей», получил деньги за билет и уехал в Вену. Это был акт номер два.

Теперь мне предстоит выступить перед вами. У меня есть подозрение, что кое в чем вы очень непохожи на моих слушателей в Ницце. К примеру, мне кажется, что вы гораздо моложе. Мою аудиторию в Ницце составляли большей частью профессора, люди бизнеса и деятели телевидения, средний возраст которых был около пятидесяти восьми с половиной лет. Кроме того, я совершенно уверен, что большинство из вас гораздо «левее» кое-кого из людей, с которыми я столкнулся в Ницце. По сути дела, — хоть это и

¹ Feyerabend P. How to Defend Society against Science? Опубликовано в (без вступительной части) в журнале *Radical Philosophy*, № 2 (Summer 1975) и перепечатано в книге: Hacking J., ed. *Scientific Revolutions*. Oxford University Press, 1981.

будет несколько поверхностным заявлением, — я мог бы сказать, что в целом вы представляете «левую» аудиторию, в то время как моя аудитория в Ницце была «правой». Однако, при всех этих различиях, у вас есть и кое-что общее. Я полагаю, что вы, как и они, уважаете науку и знание. Конечно, науку следует реформировать и сделать ее менее авторитарной. Но после того как эти реформы будут проведены, наука станет ценным источником знания, который нельзя загрязнять разного рода идеологиями. Вот таких, вы, как и мои слушатели в Ницце, — серьезные люди. Знание — это серьезная вещь, как для «левых», так и для «правых», и к его поиску следует подходить всерьез. «Нет!» — легкомыслию, «да!» — приверженности избранному делу и упорному труду ради его блага. Эти общие точки — все, что мне нужно, чтобы повторить перед вами то, о чем я говорил в Ницце, практически без изменений. Итак, я начинаю.

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Я хочу защитить общество и обитающих в нем людей от всех идеологий, включая науку. Все идеологии следует рассматривать со стороны. Их не следует принимать слишком всерьез. Их нужно читать, как волшебные сказки, в которых можно найти множество интересных вещей, но вместе с тем и чудовищное вранье, — или как моральные предписания, которые могут быть полезны в первом приближении, но становятся ужасными, если следовать им буквально.

Однако что за странный и нелепый взгляд? — удивитесь вы. Ведь наука всегда была на переднем крае борьбы против засилья авторитетов и предрассудков. Именно науке мы обязаны тем, что наше сознание стало свободнее от религиозных догм; именно ей мы обязаны осво-

бождению человечества от архаичных и косных представлений. Сегодня эти представления — не более чем страшный сон, и все благодаря науке. Наука и просвещение суть одно и то же — в этом убеждены даже самые радикальные критики общественных устоев. Кропоткин жаждет ниспровержения всех традиционных институтов и форм веры, кроме науки. Критический взгляд Ибсена проникает в самые тонкие «капилляры» буржуазной идеологии девятнадцатого века, но проходит мимо науки. Леви-Стросс открыл нам глаза на то, что Западная Мысль — это не одинокая вершина человеческого успеха, какой ее некогда воображали; однако наука остается за рамками его представления об относительности идеологий. Маркс и Энгельс были убеждены, что наука поможет людям труда в их стремлении к интеллектуальной и социальной свободе. Что же получается: все эти люди заблуждались? Их представления о роли науки были ошибочны? И все они — жертвы химеры?

Мой ответ на эти вопросы — это твердое «Да и Нет».

Позвольте мне разъяснить свой ответ.

Объяснение будет состоять из двух частей — более общей и более конкретной.

В общей части все просто. Любая идеология, разрывающая те окопы, которыми охватывает сознание людей всеобъемлющая система знания, способствует освобождению человека. Любая идеология, побуждающая человека поставить под вопрос унаследованные представления, содействует просвещению. Истина, правящая безраздельно и без препятствий, это тиран, который должен быть низвергнут, и любая ложь, способная помочь нам в свержении этого тирана, заслуживает одобрения. Отсюда следует, что наука семнадцатого и восемнадцатого столетий, в самом деле, была



орудием освобождения и просвещения. Но отсюда не следует, что наука непременно *останется* таким орудием. Ни у науки, ни у любой другой идеологии нет такого врожденного свойства, которое *всегда и всюду* делает ее освободительницей человека. Идеология может выродиться и превратиться в бездумную веру. Обратите внимание на марксизм. А то, что наука сегодняшнего дня очень сильно отличается от науки середины семнадцатого века, очевидно даже при самом поверхностном знакомстве с ее историей.

К примеру, коснемся той роли, которую сегодня играет наука в обучении. Научные «факты» преподаются в очень раннем возрасте и точно таким же манером, каким происходило преподавание религиозных «фактов» всего лишь сто лет тому назад. Школа не делает никаких попыток пробудить у ребенка критические способности, с тем чтобы у него мог появиться объемный взгляд на вещи. С университетскими делами обстоят еще хуже, ибо здесь индоктринация принимает гораздо более систематический характер. Это не значит, что критический дух совсем исчез. К примеру, общество и его институты подвергаются крайне суровой – и зачастую крайне несправедливой – критике, и это происходит уже на уровне начальной школы. Однако наука остается вне критики. Широкая публика воспринимает суждение ученого с тем же благоговением, с каким воспринимались суждения епископов и кардиналов в не столь давние времена. Стремление к «демифологизации», к примеру, продиктовано преимущественно желанием избежать любого столкновения между христианством и научной мыслью. Если же такое столкновение случается, то наука, безусловно, оказывается права, а христианство – заблуждением. Исследуйте этот вопрос глубже, и вы поймете, что сегодня

наука стала столь же деспотичной, как и те идеологии, с которыми ей некогда приходилось сражаться. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что сегодня практически никого не убивают за научное инакомыслие. Этот факт не имеет никакого касательства к науке. Он имеет определенное отношение к общему характеру нашей цивилизации. Однако научный мир применяет к «своим» еретикам *самые суровые* карательные санкции, какие может предложить эта сравнительно терпимая цивилизация.

Но может быть, в этой картине нет ни грана правды? Может быть, я представил ситуацию в кривом зеркале, прибегнув к тенденциозному и искажающему языку? Не следует ли описать ее совершенно иными словами? Я указал, что наука стала *консервативной*, что она перестала быть источником *перемен* и *освобождения*, но не прибавил, что она открыла *истину* – если не всю, то, по крайней мере, ее значительную часть. А стало быть, мне можно возразить, сказав, что это дополнительное обстоятельство позволяет нам понять: консервативность науки – это вовсе не человеческий каприз. Она заключена в природе вещей. Ибо, коль скоро мы открыли истину, то что еще мы можем делать, кроме как следовать ей?

В этой тривиальной реплике нет ни капли свежести. Она звучит всякий раз, когда идеология хочет укрепить веру своих приверженцев. «Истина» – это такое нейтральное слово! Никто не станет отрицать, что держаться истины – похвально, а лгать – нехорошо. Никто не станет этого отрицать – и, однако, никто не знает, к чему приводит такой взгляд. Поэтому нетрудно «передернуть» и превратить верность истине в повседневной жизни в преданность идеологической Истине, то есть попросту в догматическую защиту этой идеологии. И, конечно, утверждение, что мы *должны* следовать



истине, отнюдь не истина. В своей жизни люди руководствуются множеством идей. Истина – это одна из них; но есть и другие – к примеру, свобода и независимость мысли. Если Истина, как ее представляют некоторые идеологи, оказывается в противоречии со свободой, то у нас есть выбор. Мы можем отвергнуть свободу. Но мы можем и отбросить Истину. (Или мы можем принять более изощренное представление об истине, которое уже не будет противоречить свободе; так поступил Гегель.) Мой критический взгляд на современную науку вызван тем, что она подавляет свободу мысли. Если же причина этого в том, что она открыла истину и теперь следует ей, то я скажу: в мире есть вещи лучше, чем открыть, а затем превратиться в слугу такого монстра.

В этом заключается общая часть моего объяснения.

Существует более конкретный аргумент в защиту исключительного положения, которое сегодня занимает в обществе наука. Коротко говоря, он утверждает, во-первых, что наука наконец открыла верный метод получения результатов, а во-вторых, что имеется множество результатов, доказывающих совершенство научного метода. Этот аргумент ошибочен, но большинство попыток его опровержения ведут в тупик. Нынешняя методология настолько наводнена пустой софистикой, что ей стало крайне трудно заметить простые ошибки в основных вещах. Положение дел в этой области напоминает схватку с гидрой: стоит отрубить одну мерзкую голову, как на ее месте вырастают восемь формализаций. В такой ситуации единственным выходом является легкомыслие: когда в изощренности мысли тонет ее содержание, то единственный способ сохранить контакт с реальностью состоит в том, чтобы быть простым и поверхностным. Именно к этому я буду стремиться.

ПРОТИВ МЕТОДА

Обратимся к первой части аргумента в защиту исключительного положения науки. Она указывает: есть метод. Что же это за метод и как он работает? Один из ответов на этот вопрос, который уже не столь популярен сегодня, как в былые времена, состоит в том, что наука продвигается вперед, собирая факты и выводя из них теории. Этот ответ несостоятелен, поскольку теории никогда не следуют из фактов в строгом логическом смысле слова. Утверждение о том, что они, тем не менее, могут подкрепляться фактами, предполагает такую формулировку «подкрепления», которая (а) не демонстрирует вышеуказанной логической несостоятельности и (б) является достаточно изощренной, чтобы дать нам возможность показать, к примеру, в какой мере теория относительности подкрепляется фактами. Такой формулировки сегодня не существует; более того, не представляется вероятным, что она когда-либо будет найдена (одна из проблем заключается в следующем: формулировка должна быть такой, чтобы мы могли сказать, что серый ворон подкрепляет утверждение «все вороны – черные»). Это было понято представителями конвенционализма и трансцендентального идеализма, которые указали, что теории оформляют и упорядочивают факты и поэтому могут быть сохранены при любых обстоятельствах. Они могут быть сохранены потому, что человеческий мозг, сознательно или бессознательно, выполняет свойственную ему функцию упорядочения. Беда подобных взглядов состоит в том, что они допускают для мозга то, что они хотят объяснить в отношении мира, а именно то, что процесс его работы упорядочен. Существует лишь один подход, который преодолевает все эти трудности. Он был выдвинут дважды в течение девятнадцатого



ека – в бессмертном эссе Милля «О свободе», а также некоторыми дарвинистами, которые вывели теорию Дарвина на поле идеологической борьбы. Этот подход берет быка за рога, утверждая: теории не могут быть подтверждены, и невозможно показать их достоинства вне связи с другими теориями. Мы можем объяснить успех теории, обратившись к более исчерпывающей теории (к примеру, мы можем объяснить успех теории Ньютона, используя общую теорию относительности), и мы можем объяснить предпочтение, которое мы отдаем определенной теории, сравнив ее с другими теориями.

Такое сравнение не подтверждает внутренних достоинств теории, которой мы отдали свой голос. В самом деле, избранная нами теория может быть, прямо скажем, шивой. В ней могут быть противоречия; она может идти вразрез с хорошо известными фактами; она может быть нескладной, мутной; ее ключевые положения могут требовать произвольных допущений и так далее. Фактически, она может быть лучшей дрянной теорией из тех, что есть. Да и сами критерии оценки не абсолютны, они не выбираются раз и навсегда. Каждый акт выбора теории делает нас более искушенными; соответственно становятся более тонкими и наши критерии оценки. Разные критерии оценки так же спорят друг с другом, как и разные теории, и мы выбираем критерии, наиболее соответствующие историческим обстоятельствам, в которых происходит выбор. Отвергнутые альтернативы (будь то теории, критерии оценки или «факты») не вычеркиваются из жизни. Они используются для коррекции (в конце концов, может статься, что мы сделали неверный выбор), кроме того, они объясняют сущность взглядов, которым мы отдали предпочтение (мы лучше понимаем теорию относительности, разобравшись в содер-

жании конкурирующих теорий; равным образом мы полностью постигаем смысл свободы лишь в том случае, если у нас есть представление о жизни в условиях тоталитарного режима: о ее преимуществах – а у нее есть много преимуществ – и ее недостатках). С этой точки зрения знание предстает как море возможных вариантов, пронизанное и разделенное на части мириадами критериев оценки. Плавание в этом море побуждает наш разум к творческому выбору и тем самым способствует его развитию. Оно учит нас выбирать, воображать, критиковать.

Сегодня эту точку зрения зачастую связывают с именем Карла Поппера. Однако между Поппером и Миллем имеется ряд кардинальных различий. Прежде всего, Поппер разрабатывал свой подход для решения специфического вопроса эпистемологии – он хотел решить так называемую «проблему Юма». Что же касается Милля, то его интересовали условия, способствующие человеческому развитию. Его эпистемология вытекает из определенной теории человеческого общества, но не наоборот. Кроме того, Поппер, находясь под влиянием Венского кружка, предваряет обсуждение теории прояснением ее логической структуры, тогда как Милль использует любую теорию в том виде, в каком она существует в науке. В-третьих, Поппер задает жесткие и неизменные критерии сопоставления теорий, в то время как Милль допускает, что они могут меняться в соответствии с исторической ситуацией. Наконец, критерии Поппера устраняют конкурентов раз и навсегда: теории, которые в принципе неопровержимы, или те, которые могут быть – и были – опровергнуты, изгоняются из науки. Критерии Поппера ясны, однозначны и точно сформулированы – не то что у Милля. Это было бы преимуществом, если бы самой науке были свойст-

венны ясность, однозначность и точность формулировок. К счастью, дела обстоят не так.

Начнем с того, что ни одна новая и революционная научная теория не бывает выражена в такой форме, которая позволила бы нам сказать, при каких условиях она оказывается под угрозой: многие революционные теории неопровержимы. Разумеется, среди новых теорий существуют и такие, которые могут быть опровергнуты, однако они практически всегда оказываются в разладе с общепринятыми фундаментальными представлениями: всякая хоть сколько-нибудь необычная теория опровергается. Вдобавок теории имеют формальные изъяны, многим из них свойственны противоречия, поправки «к случаю» и так далее и тому подобное. Если применить критерии Поппера в строгом виде, они приведут к упразднению науки, не предложив взамен никакой сопоставимой альтернативы. Их польза для науки равна нулю. В последнее десятилетие это обстоятельство было понято рядом мыслителей, в частности Куном и Лакатосом. Идеи Куна интересны, но, к сожалению, они слишком туманны, чтобы породить что-нибудь более осязаемое, чем косяки низколетящих облаков. Если вы не верите мне, почитайте литературу по философии науки. Никогда еще эта область не была наводнена таким количеством бездарных и некомпетентных личностей, как сегодня. Кун вдохновил людей, не имеющих ни малейшего представления о том, почему камень падает на землю, с уверенностью рассуждать о научном методе. И хотя я не имею ничего против некомпетентности, я протестую, когда некомпетентность сочетается с серостью и убежденностью в собственной правоте. А именно это происходит в философии науки. Мы не испытываем прилива интересных завиральных идей; мы получаем кашу

несвежих мыслей или слов, за которыми нет вообще никакой мысли. И второе замечание: как только кто-то делает попытку придать идеям Куна более определенный характер, обнаруживается, что они *ошибочны*. Был ли когда-либо в истории мысли период «нормальной науки»? Такого не было никогда, и я приглашаю любого из вас доказать обратное.

Лакатос — гораздо более тонкий мыслитель, чем Кун. Вместо теорий он рассматривает исследовательские программы, каждая из которых представляет собой цепочку теорий, объединенных способами модификации — иначе говоря, эвристикой. Любая теория в цепочке может изобиловать изъянами. Она может быть непоследовательной, противоречивой, неоднозначной. Имеет значение не состояние отдельных звеньев, но тенденция, присущая цепочке в целом. Мы оцениваем не положение вещей на какой-то момент времени, а исторические изменения и достижения на протяжении определенного периода. История и методология объединяются в одну команду. Считается, что исследовательская программа прогрессирует, если цепочка теорий ведет к предсказанию новых явлений. Считается, что она вырождается, если превращается в простую «губку», впитывающую факты, которые были открыты без ее помощи. Важнейшая особенность подхода Лакатоса состоит в том, что эти оценки уже не привязаны к методологическим правилам, которые говорят ученому, заслуживает ли исследовательская программа сохранения или ее следует отбросить. Ученые могут сохранять приверженность вырождающейся программе; вдобавок, они могут даже добиться того, что она обойдет своих конкурентов, а стало быть, они поступают рационально, какой бы путь они ни выбрали (при условии, что они продолжают называть вырождающимися программы прогрессирующие —



прогрессирующими). Таким образом, Лакатос предлагает слова, которые звучат как элементы методологии; но он не предлагает методологии. Самая передовая и изощренная методология, существующая а сегодняшний день, обнаруживает отсутствие метода. В этом заключается мой ответ на первую часть конкретного аргумента в защиту исключительного положения науки.

ПРОТИВ РЕЗУЛЬТАТОВ

Согласно второй части аргумента, наука заслуживает исключительного положения потому, что она обилась *результатов*. Это положение является доводом лишь в том случае, если считается доказанным, что ни одна из соперничавших с наукой областей никогда не добивалась результатов. Можно признать, что такое допущение делает почти каждый, кто выдвигает положение о результативности науки. Можно также признать, что показать его ошибочность — нелегко. Формы жизни, отличные от науки, либо исчезли, либо выродились до такой степени, что справедливое сопоставление стало невозможным. Однако сегодня ситуация уже не столь безнадежна, как каких-нибудь десять лет тому назад. Мы получили представление о способах медицинской диагностики и лечения, которые, будучи эффективными (быть может, даже более эффективными, чем соответствующие методы западной медицины), основываются на идеологии, радикально отличающейся от идеологии западной науки. Мы получили представление о таких явлениях, как телепатия и телекинез, которые, будучи отвергнуты научным подходом, могут быть использованы для проведения исследований в совершенно ином ключе (мыслители предшествующих эпох — такие, как Агриппа из Неттесгейма, Джон Ди и даже Бэкон

— были осведомлены об этих явлениях). И, если уж на то пошло, разве не правда, что церковь спасала душу, в то время как наука нередко занимается прямо противоположным делом? Конечно, никто уже не верит в онтологию, лежащую в основе этого суждения. Но почему? Именно благодаря идеологическому давлению, которое сегодня заставляет нас прислушиваться к голосу науки, заглушая все иные голоса. Верно и то, что такие явления, как телекинез и акупунктура, могут в конечном счете быть втянуты в орбиту науки и объявлены «научными». Но обратите внимание, что подобные вещи происходят лишь после долгого периода противостояния, в течение которого наука, пока еще не овладевшая теми или иными явлениями, стремится взобраться над формами жизни, вмещающими эти явления. И это обстоятельство вызывает еще одно возражение против довода о результативности науки. Тот факт, что наука добилась результатов, дает ей преимущество лишь тогда, когда эти результаты были достигнуты исключительно самой наукой, без всякой помощи извне. Обратившись к истории, мы увидим, что такого практически никогда не бывает. Когда Коперник предложил новый взгляд на устройство Вселенной, он искал поддержки не у своих научных предшественников, а у безумного пифагорейца по имени Филолай. Коперник заимствовал идеи Филолая и отстаивал их наперекор всем здравым принципам научного метода. Механика и оптика многим обязаны простым ремесленникам, так же, как медицина — повивальным бабкам и знахарям. Заметим, что и современная эпоха дает нам свидетельства того, как вмешательство государства может благотворно сказаться на развитии науки. Когда коммунистические власти Китая, отказавшись рабски следовать «заключением экспертов», решили



вернуть традиционную медицину в университеты и больницы страны, по всему миру прокатилась волна протеста: дескать, Китай встал на путь разрушения науки. Однако результат оказался прямо противоположным: китайская наука усилилась, и ее успехи были усвоены наукой Запада. К какой бы области науки мы ни обратились, мы увидим, что великие научные достижения обязаны «внешним импульсам», которые утверждаются наперекор самым фундаментальным и самым «рациональным» методологическим принципам. Наука нередко развивается систематически, «по правилам», однако то же самое может быть сказано и об иных идеологиях (чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на протоколы множества церковных дебатов по вопросам догматики); вдобавок не существует никаких ключевых правил, которые выполняются при любых обстоятельствах, и не существует никакой «научной методологии», которая бы позволила отделить науку от всего «ненаучного». Наука является лишь одним из множества идеологических движителей общества, и отношение к ней должно соответствовать такому ее положению (это утверждение касается даже самых передовых и самых «спорщицких» областей науки). Какие же выводы можем мы сделать из этого положения?

Наиболее важный вывод состоит в том, что наука должна быть формально отделена от государства — подобно тому, как сегодня официально отделена от государства церковь. Науке может быть позволено влиять на общество — но только в той мере, в какой это позволяется любой политической или иной группировке. Ученые могут привлекаться к обсуждению общественно важных проектов, однако окончательное решение по поводу таких проектов должны принимать демократически избранные кон-

сультативные комитеты. В составе этих комитетов будут преобладать неспециалисты. Смогут ли неспециалисты принять верное решение? Вне всякого сомнения, ибо компетентность, сложность и достижения науки весьма преувеличены. Одно из самых сильных впечатлений оставляет картина, когда адвокат-неспециалист обнаруживает изъяны в свидетельстве, в техническом свидетельстве самого передового эксперта и тем самым подготавливает суд к принятию решения. Наука — это не тайнопись, которую можно понять лишь после долгих лет обучения. Это интеллектуальная дисциплина, которую в состоянии постичь и подвергнуть критическому анализу каждый, кто испытывает к ней интерес, и которая представляется трудной и непрозрачной лишь оттого, что многие ученые систематически занимаются ее «задымлением» (хотя, к счастью, это свойственно не всем ученым). Государственные органы должны без колебаний отвергать заключение ученых, когда у них есть к тому причина. Это будет поучительным уроком для граждан, сделает их более уверенными в себе и, быть может, даже приведет к оздоровлению общества. Принимая во внимание махровый шовинизм научного истеблишмента, можно заявить: чем больше будет «случаев Лысенко», тем лучше (в случае Лысенко предосудительно не вмешательство государства как таковое, а тоталитарное вмешательство — которое устраняет оппонента, а не просто оставляет без внимания его совет). Да здравствуют религиозные фундаменталисты в Калифорнии, которым удалось добиться того, чтобы из школьных учебников было изъято догматическое изложение теории эволюции, а вместо него включено изложение Книги Бытия. (Однако я уверен: если позволить им единолично управлять обществом, их взгляды станут столь же шовинистическими и тоталитарными.



ли, как и взгляды нынешних ученых. Идеология – прекрасная штука, пока она существует в компании других идеологий. Она становится мертвым доктринерством, как только ее достоинства приводят к устранению оппонентов.) Как бы там ни было, наиболее существенные изменения должны произойти в сфере образования.

ОБУЧЕНИЕ И МИФ

Принято считать, что цель обучения состоит в том, чтобы вывести молодых людей на арену жизни, то есть познакомить их с *обществом*, в котором они родились, и с *материальной вселенной*, обнимающей это общество. Метод обучения часто сводится к преподаванию некоего *фундаментального мифа*. Существует множество разнообразных вариантов такого мифа. Наиболее сложные варианты могут преподаваться посредством обрядов посвящения, прочно внедряющих мифы в сознание людей. Узнав миф, – то есть став взрослым, – человек оказывается в состоянии объяснить почти все на свете (а в «сложных случаях» он может обратиться к специалистам за более детальными разъяснениями). Он получает власть над Природой и Обществом. Он понимает, как устроены обе эти сферы, и знает, как с ними взаимодействовать. Однако *он не имеет власти над мифом, который служит ему колыбелью в жизни*.

Попытка обрести эту власть была предпринята – и частично осуществлена – греческими натурфилософами, жившими до Сократа. Досократики стремились понять не только *мир*. Они также хотели понять – и, таким образом, взять в свои руки – *способы понимания мира*. Вместо того чтобы удовлетвориться знанием одного мифа, они придумали множество историй о том, как устроен мир, и тем самым

ослабили власть, которую имеет хороший рассказ над умами людей. Софисты продвинулись еще дальше в разработке методов, ослабляющих «седативный эффект» занимательных, ладно скроенных, «эмпирически адекватных» историй. Достижения этих мыслителей не были по достоинству оценены в прошлом, и их, безусловно, не понимают сегодня. Преподавая миф, мы хотим, чтобы он был понят (иными словами, его содержание не должно озадачивать); мы также хотим, чтобы он был *принят*. В этом нет никакой беды, коль скоро один миф уравнивается другими. Так, к примеру, обстоят сегодня дела в сфере религии: каким бы рвением (читай: тоталитарным складом ума) ни отличался преподаватель христианских догматов, он не в состоянии воспрепятствовать тому, чтобы его ученики общались с буддистами, иудеями и прочими «неверными». Совершенно иная картина наблюдается в мире науки: в этом царстве «рациональности» практически безраздельно господствуют правоторые. При таком положении вещей необходимо направить усилия на укрепление еще не застывших молодых умов. Говоря об «укреплении умов», я имею в виду, что нужно развивать в молодых людях *неподатливость* к всеобъемлющим теориям – способность не поддаваться искушению принимать их «на ура». Для этого требуется такое обучение, которое развивает в людях *упрямство*, стремление выдвигать *контрдоводы*, – однако не подавляя в них способности отдаваться разработке любой самостоятельной позиции. Как можно достичь этой цели?

Ее можно достичь, заботливо оберегая клад воображения, которым обладают дети, и вместе с тем – всемерно развивая живущий в них дух противоречия. В общем и целом дети отличаются гораздо более острым умом, чем их учителя. Они «гасят» свою сообразительность либо

Архив

потому, что их запугивают, либо из-за того, что учителя подавляют их своей эмоциональной черствостью. Дети могут одновременно учить два или три языка и пользоваться ими, не путая один с другим. (Замечу: я говорю о возрасте от трех до пяти лет, но не имею в виду, скажем, восьмилетних детей. Недавние эксперименты по обучению нескольким языкам детей восьмилетнего возраста дали плачевные результаты. Почему? Очевидно, бездарные учителя уже успели засорить им мозги.) Разумеется, процесс знакомства ребенка с новыми языками должен быть более увлекательным, чем тот, что обычно происходит в школе. В мире любого языка есть чудные писатели, поведавшие нам изумительные истории; давайте же начнем преподавание языка с них, а не с «Собаки и восьми лебедей» и подобной дребедени. Обратившись к историям, мы, конечно, можем включить в репертуар и «научные» истории — к примеру, посвященные происхождению мира, — и тем самым ввести детей и в эту область. Но мы не должны предоставлять науке никакого особого положения, кроме как указав, что в нее верит множество людей. Позднее к историям добавятся «аргументы», иными словами, повествования, ведущие в глубь той или иной истории в рамках традиции, к которой эта история принадлежит. И конечно, к историям добавятся не только аргументы, но и контраргументы. Как первые, так и вторые будут представлены специалистами из соответствующих областей, благодаря чему молодое поколение познакомится со всеми разновидностями проповедей и с паломниками всех мастей. Оно увидит их, услышит их истории — и каждый молодой человек сможет решить для себя, какой дорогой пойти. Сегодня каждый

знает, что, став ученым, можно получить и кучу денег, и репутацию, и, быть может, даже Нобелевскую премию, — поэтому многие из них станут учеными. *Они станут учеными, не попавшись на удочку научной идеологии: они будут учеными, потому что они сделали свободный выбор.* Но не зря ли они потратили много времени на ненаучные предметы, и не обернется ли это растратенное время изынами в их профессиональных навыках, когда они станут учеными? Ни в коем случае! Прогресс науки, доброкачественной науки, питается свежими идеями и свободой мысли: наука очень часто делала шаги вперед благодаря аутсайдерам (вспомните, что и Бор, и Эйнштейн относили себя к их числу). Не приведет ли такое обучение к тому, что многие люди сделают ошибочный выбор, который заведет их в тупик? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «тупик». Сегодня большинство ученых лишены идей, переполнены страхом, охвачены стремлением произвести на свет хотя бы копеечный результат — дабы внести свою лепту в море макулатуры, которое стало олицетворением «прогресса» во многих областях науки. И в конце концов, что важнее: жить той жизнью, которую сознательно выбрал сам, или посвятить свое время отчаянным попыткам избежать того, что кажется чужие и недалекие люди называют «тупиком»? Не получится ли так, что число ученых уменьшится настолько, что в итоге опустеют даже наши лучшие лаборатории? Я не думаю, что это случится. Получив возможность выбора, многие молодые люди могут выбрать науку, потому что наука, которую движут свободные личности, выглядит куда привлекательней, чем наука сегодняшнего дня, которую делают ра-



ы — рабы ведомств и рабы «разума». Если же когда-нибудь возникнет недостаток в ученых, то его всегда можно исправить посредством разнообразных стимулов.

Разумеется, в том обществе, какое рисуется моему воображению, членые не будут играть никакой опосредствующей роли. Их влияние уйдет более чем уравновесившись гагами, священниками или астрологами. Такая ситуация представляется невыносимой многим людям — тарым и молодым, «правым» и левым». Почти каждый из вас твердо верит в то, что установлена ю крайней мере *какая-то* истина, и читает, что ее следует охранять, — а метод обучения, который я защищаю, и устройство общества, которое я отстаиваю, приведут к ее подыву и в конце концов исчезновению. Таково ваше твердое убеждение, и многие из вас даже могут привести доводы в его пользу. Однако вы должны отдавать себе отчет, что отсутствие сильных контрдоводов является результатом исторического стечения обстоятельств, а вовсе не заключено в природе вещей. Постройте общество такого типа, какой я предлагаю, и взгляды, которые вы сегодня ни во что не ставите (разумеется, не зная их), поднимутся так мощно, что вам придется еще как постараться, чтобы отстоять свою собственную позицию, и не исключено, что вы вообще не сможете этого сделать. Вы не верите мне? Обратимся к истории. Научная астрономия твердо основывалась на взглядах Птолемея и Аристотеля — двух людей, которые входят в число ярчайших светил в истории западной мысли. Кто поднял голос против их картины мира — хорошо обоснованной, эмпирически адекватной и четкой сформулированной? Помешанное ископаемое — пифагореец Филолай. Как же вышло, что этот мастодонт вернулся на сцену — и к тому же победителем!? А вот как:

он нашел талантливового адвоката — Коперника. Конечно, вы можете следовать своей интуиции, как я следую своей. Но не забывайте, что ваша интуиция является результатом вашей «научной» выучки, под которой я, в частности, имею в виду науку Карла Маркса. Я же был выучен — а точнее, не выучен — как журналист, которого притягивают странные, из ряда вон выходящие события.

И последнее. Не есть ли это совершенно безответственное занятие — роскошествовать, предаваясь подобным мыслям, когда в мире царит такая ситуация, как сегодня, когда миллионы людей голодают, а иные порабощены, повергнуты в прах, прозябают в материальной и духовной нищете? Не является ли свобода выбора роскошью в подобных обстоятельствах? Не являются ли в таких обстоятельствах роскошью легкомыслие и смех, которые я хочу видеть в одной упряжке со свободой выбора? Не должны ли мы запретить себе предаваться подобным мыслям и *взяться за дело*? Объединить усилия — и к *делу*? Это — самое серьезное возражение, которое сегодня можно услышать против такого подхода, к которому я призываю. Оно имеет огромную притягательную силу, источник которой — идея бескорыстного служения. Бескорыстное служение — но чему? Давайте разберемся!

Итак, мы должны отбросить наши эгоистические побуждения и посвятить себя освобождению угнетенных. Но что такое эгоистические побуждения? Это — наше стремление добиться наивысшей свободы мысли *в том обществе, где мы живем сегодня*, добиться наивысшей свободы, выраженной не в каком-то абстрактном виде, но в виде соответствующих общественных институтов и методов обучения. И это стремление добиться конкретной интеллектуальной и физической свободы в нашем собственном

обществе следует отбросить до лучших времен. Такая позиция предполагает, во-первых, что мы не нуждаемся в свободе для осуществления своего дела — освобождения угнетенных. Она также предполагает, что мы можем осуществлять свое дело, наглухо закрыв свой разум от некоторых чуждых нам представлений. Наконец, она предполагает, что единственно верный способ освобождения других людей *всегда был известен*, и все, что требуется, — это применить его в жизни. Сожалею, но для меня неприемлема такая догматическая самоуверенность в столь важных вопросах. Следует ли сделать из этих слов вывод, что мы вообще не в состоянии действовать? Я так не считаю. Однако они подразумевают, что *в ходе наших действий мы должны стремиться к как можно более полному осуществлению свободы, которую я отстаиваю, — чтобы иметь возможность корректировать свои шаги в свете представлений, получаемых нами в процессе расширения нашей свободы*. Без сомнения, это снизит темп нашего движения, однако должны ли мы лететь сломя голову только потому, что какие-то люди сказали нам: «Мы нашли объяснение всем человеческим бедам и отличный способ их устранения»? Вдобавок мы стремимся дать людям свободу не для того, чтобы они впали в новую форму рабства, но для того, *чтобы они могли осуществить свои собственные желания*, сколь бы ни разнились эти желания с нашими.

Самоуверенность и ограниченный ум — негодные инструменты для решения этой задачи. Как правило, «освободители» с таким инструментарием быстро порождают рабство, которое (в силу своего «правильного» устройства) оказывается хуже самой гнусной неволи, упраздненной их усилиями. Что же касается смеха и легкомыслия, то ответ очевиден. Почему одни люди стремятся освободить других? Конечно же, не потому, что у свободы есть какое-то *абстрактное* преимущество, а потому, что свобода — это лучший путь к полноценному развитию человеческих возможностей, то есть к *счастью*. Мы стремимся к освобождению людей, чтобы *они могли улыбаться*. Чего же мы сможем добиться, если мы сами разучились улыбаться и с осуждением смотрим на тех, кто еще не утратил эту способность? Не добьемся ли мы распространения новой болезни — пуританской самоуверенности, — сравнимой по тяжести с тем недугом, который мы хотим искоренить? Не говорите мне, что преданность делу и юмористическое отношение к этому делу (и к себе) несовместимы: пример Сократа свидетельствует о том, что они отлично уживаются друг с другом. *Самая трудная задача требует самой легкой руки, иначе ее выполнение приведет не к свободе, но к тирании куда более страшной, чем та, что была прежде*.

Перевод с англ.
А. Ю. Стручкова